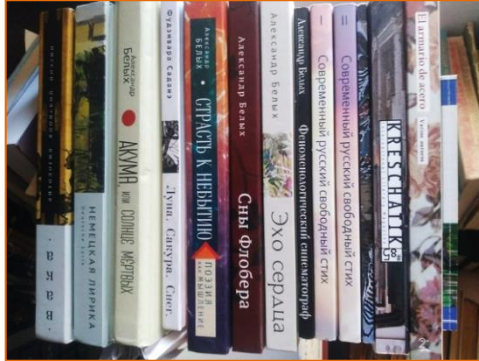
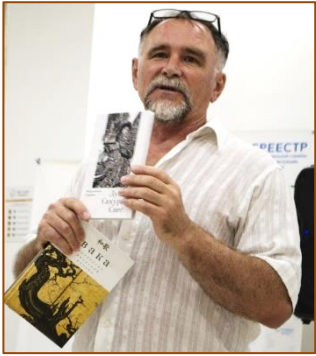


ПУТЬ ВОИНА: МЕЖДУ ДОЛГОМ И СМЕРТЬЮ

К 120-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА ФАДЕЕВА. ОПЫТ СВОБОДНОГО ЧТЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ СМЕРТИ ЮКИО МИСИМА

Белых Александр Евгеньевич,
переводчик, поэт, прозаик,
эссеист, драматург, сценарист,
член московского отделения международного ПЕН-КЛУБА,
г. Владивосток



Представляем:

Александр Белых (Вялых) активно публикуется в журналах и альманахах, в том числе и за рубежом. Овладевая литературным японским, Александр жил, учился и работал в стране Восходящего солнца, и первую известность ему принесли переводы на русский язык романов писателя Юкио Мисима: «Жажда любви», «Шум прибой», «Запретные цвета». Заслужили признание и его переводы классической японской поэзии. Он автор антологий: «Японская поэзия» (1999), «Луна. Сакура. Снег» (2008), «Дикая Азалия» и т. д.

Александр Белых переводил также древнюю (VIII в.) поэзию Бохай (первого государства тунгусо-маньчжуров на территории Приморского края, Маньчжурии и в северной части Корейского п-ова).

Книги Белых выходят в известных издательствах страны. В Петербургском издательстве «Алетейя» – романы «Сны Флобера» (2020), «Акума, или солнце мёртвых» (2019); антология «Вака» (2018), стихи средневекового поэта XII в. Фудзивара Садаиэ (Тэйка) (2020). «Алетейя» издала его книгу литературной критики о творчестве петербургского поэта и писателя Николая Кононова

«Феноменологический синематограф» (2014). Ещё одну – о философской критике поэтического мышления «Страсть к небытию, или поэзия как мышление» (2017). Это издание было номинировано на премию им. Александра Пятигорского.

Собственная поэзия А. Белых переводится на японский, английский, французский, сербский, испанский языки.

Им издан цикл стихов: от первой книги «Дзуйхицу» (2007) до последней – «Увядание пурпура» (2020).

Во Владивостоке проходила презентация книги стихотворений Александра Белых «Эхо сердца» (билингва) (2021), которая переведена на японский язык профессором университета «Васэда» (г. Токио) Сакоко Такаянаги.

Александр увлечённо переводит и с немецкого языка. Так им уже издана антология немецкой поэзии XX века «Немецкая лирика (2022) и др. В настоящее время он готовит к изданию собрание стихотворений немецкой поэтессы Эльзы Ласкер-Шюлер, видного представителя немецкого экспрессионизма начала XX века.

I Наивное чтение в картинках

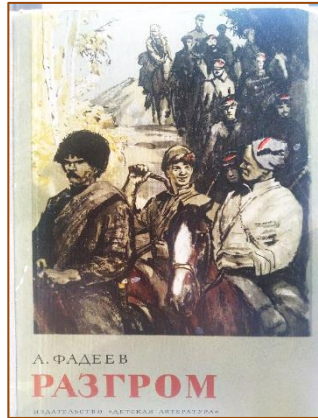
Александр Фадеев присутствовал в моей жизни, кажется, всегда, с первых книг, но как тень забытых предков, как затуманенное воспоминание о шахтёрском привольном детстве, – сначала книжкой «Разгром» – той самой, что с рисунками Ореста Верейского («Детская литература», М., 1972), потом книгой писем и воспоминаний «... Повести нашей юности» («Детская литература» М., 1968). Была ещё отдельная книжица «Метелица» с выразительной графикой Владислава Туманова (Барнаул, 1973). Нравилось рассматривать рисунки, потому что мечтал стать художником, любил краски за их аромат и вкус.

Детство моё, чем-то похожее на отроческие годы самого Фадеева в Чугуевке, проходило на раскопках городища Бохайского царства на берегу бухты Экспедиция, в мотострелковом полку гарнизона, в сопках вблизи границы. Прежде здесь шумело селение

ИМЕНА И ДАТЫ

Ян, потом пост Ново-Киевский, переименованный в Краскино. Улица Гвоздева, 27 кв. 4. Это были первые казармы приграничного поста Ново-Киевского.

Недавно я нашёл эти книги, старые, потрёпанные. Память как будто всколыхнулась сумеречными бликами детских переживаний.

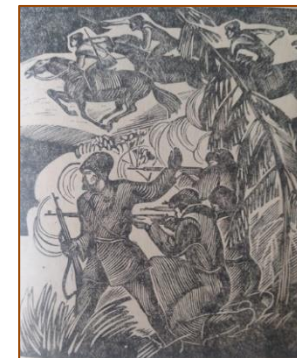


Тиражи были немалые, стотысячные. Насколько же это не детская литература «Разгром» Фадеева! Книги пришли вместе с иллюстрациями. Отец незаметно подсовывал книжки. Я складывал их на полку и мечтал пополнить её другими, пересчитывал. Не насчитывалось и дюжины. Вахов, Фраерман, Плетнёв, Сукачёв, Лясота, Федичкин, Диковский, Кин. Среди них были эти книги Фадеева.

Герои «Разгрома» – шахтёры-партизаны, крестьяне. Почти знакомые. С детства я знал много разных шахтёров – в забое, в душевой, в ламповой, на охоте, на рыбалке, на праздниках; слушал их застольные споры о работе, о норме выработки, о рентабельности, о зарплатах, о приписках, о премиях, о завалах и затоплениях, о взрывах метана. Разговоров о том, каково это лежать под завалом, и какие мысли приходят заживо погребённому шахтёру, тоже наслушался. В ночь, когда мама рожала меня, отец был в забое, в шахту прорвалась подземная река. Они рассказывали об этом со смехом. Оказывается, под землёй тоже текут бурные реки, удивлялся я тайнам подземного мира.

Когда отец уходил в третью смену, я переживал за него. Я представлял себя под завалом: затаивал дыхание, считал последние удары сердца и ждал смерти, как тяжелораненый партизан Фролов, бравший мензурку из рук врача Сташинского, догадываясь, что там приготовлен для него смертельный яд. Вспоминались предсмертные слова Фролова о своём сынишке в Сучане; я представлял себя его сыном Федькой. Вспоминалась «свойская

девка» Варька, полюбившая никчемного чистоплюя Мечика, какого-то непонятого «максималиста».



Жальче всего было жеребчика Михрютку с остекленевшими глазами, погибшего в атаке. Мерещилось, как белоказак волочит за ноги пристреленного Метелицу, видел, как гибнет Морозка, как равнодушно закапывают его в землю, не проронив ни одной слезы. Представлял, как партизаны переправляются ночью через топь, хлебая лягушачью воду... Воображение рождало много страхов. Детские игры допоздна всегда заканчивались страшилками. Казалось, где-то рядом, за дверью, в темноте крадёт доктор «помощник смерти» Сташинский. Шахтёры рассказывали, что под завалом их жизнь пролетала чередой жизненных картинок, но мне вспомнить было особенно нечего, поэтому у меня перед глазами пролистывались фрагменты фадеевского «Разгрома». Носом хотелось уткнуться в тёплый Варькин живот, как подобранный щенок у неё за пазухой...

Теперь, в образе Сташинского я узнаю доктора Ветрова-Марченко, узнал его по фразе «помощник смерти», которую он вспоминает в статье «В боях за Спасск», как этим обидным выражением его назвал сам Фадеев, а потом извинялся. («Советское Приморье», 24, 1958).

Из шахты отец приносил доисторические ракушки и камни с отпечатками древних папоротников, янтари с мушками, кристаллы. Читающему мальчику образ ординарца Морозки, жившего по гудку, пившего водку и портившего баб, «баламута» (частое выражение моего отца), представлялся понятным и даже узнаваемым, похожими на кого-то из шахтёрской братии –

ИМЕНА И ДАТЫ

«угольного племени». Партизаны в романе ругаются куртуазно – «в бога и священный синод». В первом издании «Разгрома» ругательства были посмачней, и Горький просил автора почистить роман от матерщины, что и сделал послушный Фадеев, доверявший старшим товарищам в литературе и по партии. Любопытно, какие советы ему давала матёрая заботливая Розалия Землячка, благодаря которой мы имеем возможность читать «Разгром»?

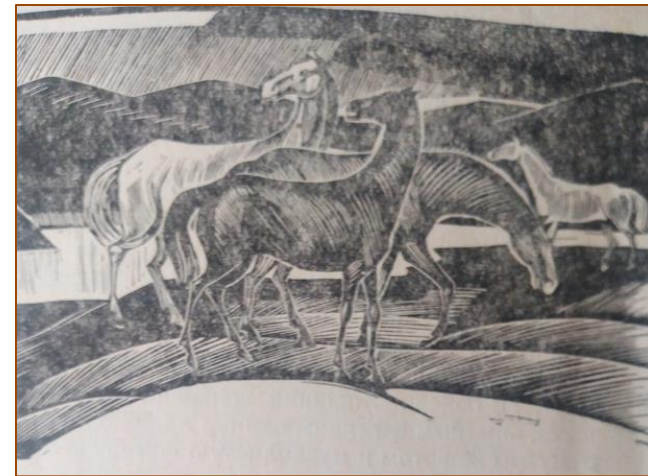
Выражение «трепло сучанское» о Морозке воспринималось как сугубо матерное. Оно вошло в мальчишеский оборот наряду с «вертилой немазанным», «сопливой ноздрей» и «коблой». Отчасти повествование о поражении партизанского отряда, постоянно отступающего, лишённое героического и приключенческого духа, казалось мальчику затянутым, медленным, унылым. Через слова пробираешься так, будто ноги увязают в густой траве дальневосточного леса. Но в романе были волнующие темы любовных отношений. Они привлекали. Блудливым был конь Мишка, блудливым был шахтёр Морозка, блудливой была Варька, «гулящая и бесплодная откатчица». Мама моя тоже работала в шахте, была откатчицей. Так же кривила в улыбке рот моя старшая подруга Любка Петрухина, зачислившая меня сначала в свои «женихи», а потом в «мужья». Через Любку мне стала понятной Варька.

Лет в 12, помню, отец взял меня в забой на экскурсию вместе с бригадой, он был бригадиром. Снарядил каской с фонарём и тяжёлым аккумулятором на боку. Было жутковато. Из чёрной дыры в земле дул протяжный ветер, будто дыхание подземного зверя-дракона. Это работала вентиляция. Я видел, как в угольный пласт антрацита вгрызается отбойный молоток, как закладывают в шурфы взрывчатку, отведаль шахтёрского «тормозка» с колбасой и салом, даже прикармливал шахтёрскую крысу, любовно прозванную каким-то человечьим именем «Раиска». Морозка спускался в забой каждый день по гудку с 12 лет.

Почему-то я настороженно следил за судьбой лошади с человеческим именем Мишка: «Гривастый жеребчик настороженно прядал ушами. Был он крепок, мохнат, рысист, походил на хозяина:

такие же ясные, зелено-карие глаза, так же приземист и кривоног, так же простовато-хитёр и блудлив». Морозка называет своего жеребчика «сатаной» и «божьей скотиной». Подрывник Гончаренко говорит: «Ежели прикинуть, кто из вас умнее, так не тебе на Мишке ездить, а Мишке на тебе, ей-богу».

Животные в произведениях у Фадеева очеловечены, а персонажи – наделены животными свойствами, чертами, эпитетами. Фыркает Морозка, как его жеребец. С жеребчиком Михрюткой ординарец разговаривает по-человечьи, как с



товарищем. «В конюшне, почуяв хозяина, Мишка заржал тихо и недовольно, будто спрашивал: «Где ты шляешься?» Морозка нащупал в темноте жёсткую гриву и потянул его из пуни. – Ишь обрадовался, – оттолкнул он Мишкину голову, когда тот нахально уткнулся в шею влажными ноздрями. – Только блудить умеешь, а отдуваться – так мне одному...». В те годы я ещё не читал «Холстомера» Толстого, только слушал по радио «Маяк», по транзистору главы из романа «Война и мир», когда один занимался прополкой длинных картофельных грядок вблизи шахты, пока родители были на смене – отец под землёй, мать на эстакаде.

ИМЕНА И ДАТЫ

Однако всю злобу и обиду свою из-за неверной жены Варьки он вымещает на своём коне. Жеребчик тоже обижается на него по-человечьи: «Мишка, разобиженный вконец несправедливостью хозяина, бежал до тех пор, пока в натруженных губах не ослабли удила; тогда он замедлял ход и, не слыша новых понуканий, пошёл показно-быстрым шагом, совсем как человек, оскорблённый, но не теряющий собственного достоинства. Он не обращал внимания даже на соек, – они слишком много кричали в этот вечер, но как всегда, попусту, и больше обычного казались ему суетливыми и глупыми».

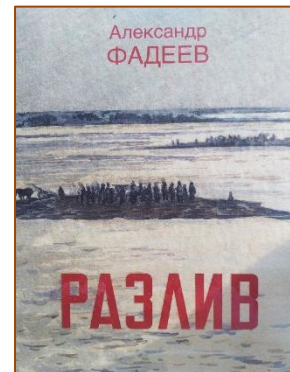


Левинсон изображался волком: «Он был на редкость терпелив и настойчив, как старый таёжный волк, у которого, может быть, недостаёт зубов, но который властно водит за собой стаи – непобедимой мудрости многих поколений». Партизанский отряд Левинсона уподобляется волчьей стае. «...Но он, казалось, не мог уже ничего сделать для них, он уже не руководил ими, и только сами они ещё не знали этого и покорно тянулись за ним, как стадо, привыкшее к своему вожаку». Левинсон даже клацает зубами по-

волчьи. «И вдруг он действительно появился среди них, в самом центре людского месива, подняв в руке зажжённый факел, освещающий его мертвенно-бледное бородатое лицо со стиснутыми зубами, с большими горящими круглыми глазами. <...> Молчать! – взвизгнул он вдруг, по-волчьи щёлкнув зубами, выхватив маузер, и протестующие возгласы мгновенно застыли...». Такой же волчьей стаей мы, поселковые мальчишки, бегали сломя голову по сопкам и распадкам, гоняя фазанов пугачами и рогатками.

Нравилось у Фадеева множество выражений. В том числе такое: «По мглистым нехоженным тропам Млечного Пути в смятении бежали звёзды». Летом, по субботам, в полку показывали солдатам кино под открытым небом. Мы прибежали на ночной киносеанс, просачиваясь через дыры в ограде, усаживались на выставленные скамейки посреди солдат. Время засекали по Полярной звезде. После сеанса, ночью, пробираясь закоулками, прыгая через лужи, ухабины, разбитые гусеницами танков, пугаясь теней в зарослях полыни, с оглядкой на Млечный Путь трусили по одиночке домой с солдатскими трофеями – пилоткой, звёздочкой, трассирующим патроном, сапёрной лопатой. Мечик, впервые стреляя из винтовки, зажмурился глазами; я сравнивал себя с ним и

гордился, что умею стрелять по мишени из автомата. Такие стрельбища устраивались нами каждый год в День пограничника, на заставе.



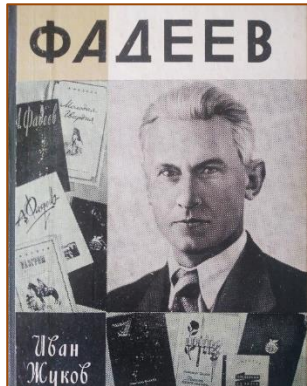
Фадеев был и остаётся близок мне описанием пышной дальневосточной природы, описанием запахов. Из обилия запахов в прозе Фадеева можно составить коллекцию. Природа в произведениях Фадеева, особенно в повести «Разлив», это отдельная увлекательная мифологема,

которая ещё нуждается в литературоведческой расшифровке. Стихия природы в «Разливе» преодолевается человеком, волей Неретина. Социальная стихия в «Разгроме», сколько бы ни вкладывал Левинсон своей воли и власти, приводит к поражению, к

ИМЕНА И ДАТЫ

разгрому отряда. Смысловыми доминантами в романе «Разгром» становятся животные инстинкты, воля, сила, мужество, малодушие, слабость, немощь, жертва, власть, сумеречная осмысленность, Варькина любовь. Каждый персонаж определяется друг к другу в отношении этих двойственных качеств. Замечательно, что в романе только двое персонажей проливают слёзы, каждый по своему поводу — Мечик и Левинсон. Характерно, что Левинсон черпает силу, волю, ум, мужество и власть только в присутствии двух персонажей – Метелицы и Бакланова. Любовь Вари – особая форма власти без владения.

«Разгром» следовало бы перечитать в сопоставлении со «Словом о полку Игореве» как первое произведение, в основу которого положен сюжет о поражении и гибели русского войска. Мне подсказывают, что в этом ряду находятся «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Сказание о граде Китеже», но здесь град уходит под воду без боя и продолжает жить. Кто-то назовёт и другие. «Повесть о Мамаевом побоище» о победе, но сравнимой с ценой поражения. Называют повесть советского писателя Василия Быкова «Сотников».



В школьном сочинении о революционных памятниках во Владивостоке я выбрал открытку с изображением памятника Сергею Лазо. Рассказ Фадеева «Сергей Лазо» помог мне справиться с сочинением. Сейчас существует другая версия гибели революционера. Александр Фадеев присутствовал в моём детстве романом «Последний из удэге», когда мой дедушка, отпрыск Уссурийского казачьего войска,

шахтёр, Андрей Иванович Верхотуров, читал летними вечерами этот роман вслух для бабушки, которая была слепа с восьми лет. Они обсуждали этот роман, который пестрил знакомыми топонимами: Майхэ, Шкотово, Кангауз, Сучан, Ольга, Тетюхе. Они

говорили об этих местах, вспоминали тамошних родственников и знакомых.

Другая бабушка, по отцовской линии, баба Феня Тёмная, рассказывала, как старшие братья её из села Кролевцы, основанного переселенцами из Чернигова, уходили на зимовьё в тайгу к партизанам, боровшимся против японских интервентов. Как пришлось отдать партизанам даже корову (имя забыл), чтобы они могли выжить. Я помню этот дом с русской печью, где жили мои предки из Черниговской губернии, прошедшие путь от Николаева через Индийский океан до Владивостока. Теперь я понимаю, что бабушкины братья воевали вместе с теми сучанскими партизанами наряду с фадеевскими персонажами и, может быть, их можно было бы узнать в лицах, пусть даже не с самой привлекательной стороны. Пожалуй, ранних детских сентиментальных ассоциаций уже достаточно.

II Биографические лакуны

Сейчас известно три биографии писателя Александра Фадеева: Ивана Жукова (1989), Василия Авченко (2017), Павла Шепчугова (2017). Информативна последняя. Ни одна из них неполна и дополняют друг друга несущественно. Представляется, что целые главы из биографии Фадеева как будто выдернуты. Нет главы, которая бы рассказывала об дальневосточных страницах отношений с Николаем Костарёвым (1893–1942), сыгравшим роль в спасении Александра Фадеева. Они общались в Ленинграде, вместе поступили в Горную академию в Москве.

О Николае Костарёве Фадеев вспоминает в главе «Семья Сибирцевых»: «Когда в ночь с 4 на 5 апреля началось японское наступление, Игорь Сибирцев и я находились в Спасске. Командующий районом – Певзнер – был в это время в Имане.



ИМЕНА И ДАТЫ

Оставался его помощник Н. Костарёв. Выступление не застало нас врасплох...» («...Повесть нашей юности», 1968). Далее, в конце, он пишет: «Я был ранен, так что не мог идти, и что со мной делать – неизвестно, нужно заниматься этими частями, а бросать меня жалко. Игорь Сибирцев и ещё один товарищ... подхватил меня на руки». Сделаю предположение, что «ещё один товарищ» – это, возможно, был Николай Костёр, но почему-то это имя пропущено в «Черновой записи воспоминаний».

Я съездил недавно в Партизанск, бывший Сучан. Город бывших шахтёров, со следами былой славы. В филиале музея им. А. К. Арсеньева я искал сведения о Николае Костарёве, хоть каких-то упоминаний. За последние десять лет с первого моего посещения экспозиция в музее не поменялась, фотографии не обновлялись, артефакты прежние. Его портрета среди других партизанских руководителей не обнаружено. Экскурсовод о Николае Костарёве ничего не слышала. В библиотеку не удалось зайти, чтобы ознакомиться с литературой о гражданской войне.



Я обратил внимание на книги «Октябрь в Приморье»; «Записки премьер-министра ДВР» П.М. Никифорова, Госполитиздат, 1963; роман Николая Колбина «Партизаны»; Бориса Беляева «Семья Сибирцевых», 1954; М.И. Губельмана «Борьба за советский Дальний восток»; «50 лет разгрома интервентов и окончания гражданской войны в СССР. Материалы к научной конференции». Москва, 1972.

В рассказе «Один в чаше» (глава из неоконченной повести «Таёжная болезнь», 1924–1925) читаем: «В ближайший вечер соберётся у «поэта Миколы» на 6-й Матросской вся партийная молодёжь» и понимаю, что речь идёт о Николае Костарёве, которого знали среди владивостокских поэтов-футуристов как поэта Миколу, автора «Аэропоэмы» и авантюрного романа «Жёлтый дьявол»,

написанного уже в Ленинграде в соавторстве с Венедиктом Мартом под псевдонимом Никэд Мат. Нам незнакомы отзывы Фадеева о романе «Жёлтый дьявол».

26-я глава второго тома «Зубы жёлтого дьявола» («Повстанчество») тоже называется «Разгром». Роман выходил в Ленинграде в издательстве «Прибой» в 1924–1926 годах.

Благодаря исследованию профессора Сергея Крившенко (преподавал советскую литературу на Восточном факультете ДВГУ) эти страницы были освещены в статье «Возвращение Николая Костарёва на Дальний Восток» («Дальний Восток», №1, 1990). С тех пор за последние тридцать лет не появлялось новых исследований, и можно сказать, что возвращения партизана и писателя не состоялось. Елена Кириллова упоминает о Николае Костарёве в книге «Дальневосточная гавань русского футуризма» (Владивосток, 2011).

Второе издание романа состоялось в Москве в издательстве «Престиж Бук» (2021). Это издание сопровождает биографический



очерк внучки писателя Ольги Голдиной «Изытые из жизни», ныне она проживает в Лондоне. Она любезно снабдила меня ксерокопиями первых журнальных публикаций Николая Костарёва – это три рассказа о партизанских событиях и дальневосточные очерки – о Сахалине и Сахалинские сказки. Кстати, выражение «граница на замке» пошло в жизнь с его уст, от названия очерка о пограничниках.

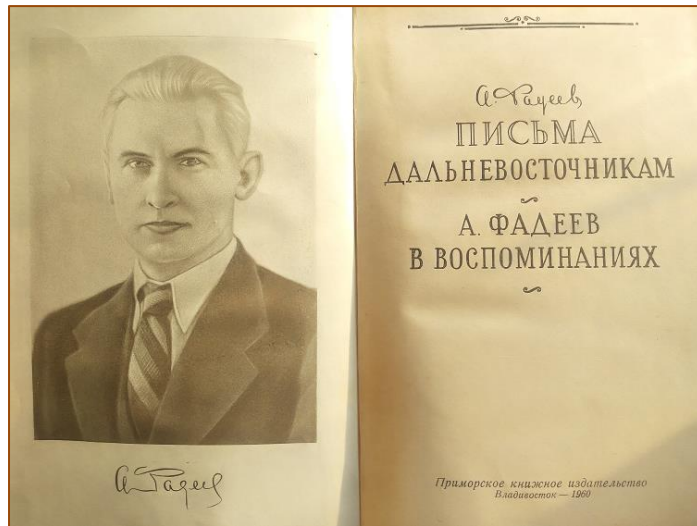
Стилистика этих рассказов значительно отличается от стилистики авантюрного романа «Жёлтый дьявол».

Первое издание этого романа в двух книгах недавно обнаружено в научной библиотеке в Хабаровске. В краевом краеведческом музее им. Н.И. Гродекова хранится фотоархив Николая Костарёва. В настоящее время известны только две его фотографии. Одна на

ИМЕНА И ДАТЫ

момент его ареста накануне войны в 1941 году. Умер он в омской тюремной больнице зимой 1942 года.

В книге «Александр Фадеев. Материалы и исследования» (М. 1977) есть одно упоминание в письме Фадеева в редакцию газеты «Известия» т. Цыпину от 20 июня 1933 года: «Рекомендую в качестве корреспондента «Известий» т. Костарёва Ник., которого знаю около 15 лет как талантливого журналиста и вполне



советского человека, активного участника борьбы против белых за советский Восток».

Т. А. Ветров-Марченко, бывший начальник санчасти штаба Спасско-Иманского партизанского укрепленного района, в статье «В боях за Спасск» (Альманах «Советское Приморье» 24, 1958) впервые вспоминает репрессированного в 1941 году накануне войны Николая Костарёва: «Формирование партизанского отряда было закончено, и в первых числах апреля (1919) из Владивостока в Яковлевку прибыл Николай Костарёв (Туманов) и принял командование».

Вспоминает Николая Костарёва Татьяна Цивилёва в статье «Мы старые друзья...» в книге А. Фадеева «Письма дальневосточникам. А. Фадеев в воспоминаниях», Приморское

книжное издательство. Владивосток – 1960. Она пишет: «В 1923 году мы с Крастиным переехали в Ленинград для учёбы в политехническом институте. Там же учились Зоя Секретарёва и Костя Серов (Вышлин). Опять у нас была своя тесная группа друзей. В Ленинграде жили Ольга Левич и Николай Костарёв. Приезжая в Ленинград, Саша неизменно бывал у нас, и все мы, его старые друзья, собирались вместе. Всегда приглашал нас на литературные вечера, где он выступал. Много в нём было молодого задора, бодрого духа и душевной теплоты. В эти приезды мы как-то особенно сблизились душевно, будто открыли друг в друге новые запасы тепла и нежности».

В романе «Жёлтый дьявол» действуют персонажи с узнаваемыми историческими именами. Валентин Сибирцев – это Всеволод Сибирцев. Сам Николай Костарёв представлен в образе Снегуровского. Юноша Саша Фадеев узнается в Сашке-комсомольце, Саше Петрове. Это первый случай, когда Фадеев становится литературным персонажем ещё при жизни. «Подпольный молодняк Владивостока кипит в работе и возбуждении. Скоро оно, скоро – время решительной схватки. Валентин Сибирский у себя на квартире. Он торопливо ходит по комнате и часто смотрит в окна. «Где он запропастился, дьявол? – сердито думает он. – Давно пора, а его нет». Валентин ждёт «коммерсанта» и комсомольца Сашку Петрова. Запоздал Сашка. Почему? Эх, диво! Белобрысый Сашка равнодушен к литературе. Сашка не может пройти мимо книжной витрины – на минутку да остановится. Глядишь: минутка до десяти минут вспухнет». Образ живенького и смышлёного Сашки мелькает со страницы на страницу боевых событий партизанской войны.

Целая глава из жизни Фадеева, связанная с именем Николая Костарёва, выдернута из опубликованных биографий писателя. Второй по значимости влияния на судьбу и творчество Фадеева была одиозная революционерка Розалия Землячка, которая организовала творческие условия и стипендию для написания романа «Разгром». Ни одна рабочая страница романа «Разгром» не прошла мимо её рук. Полагаю, что этот роман «Разгром» уже стало

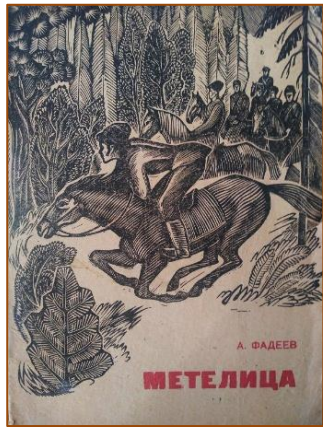
ИМЕНА И ДАТЫ

невозможным критически оценивать вне контекста трилогии «Жёлтого дьявола» Николая Костарёва и Венедикта Марта (Матвеева), написанной в жанре революционного боевика.

В романе «Разгром» всего однажды возникает некий «голубоглазый немец из взвода Метелицы», в главе «Пути-дороги»: «– Что, что там случилось? – спросил бежавший им навстречу голубоглазый немец из взвода Метелицы. – Медведя поймали, – спокойно сказал Гончаренко. – Медве-едя?.. – Немец выпучил глаза и, постояв немного, вдруг ринулся с такой прытью, как будто хотел поймать ещё одного медведя».

Именно с таким темпераментом действует в романе «Жёлтый дьявол» персонаж по имени Штерн, оказавшийся Карлом Либкнехтом (однофамильцем известного социал-демократа, соратника Розы Люксембург) – это реальное лицо, и наверняка в Германии у него сохранились предки. Он похоронен, как мне сказали сотрудники музея, в братской могиле под Партизанском, именем его назван тупик во Владивостоке. Череда случайностей привела его к берегам Тихого. Он воевал на русском фронте, попал в плен, попал под влияние большевиков, после революции оказался на Дальнем Востоке, попал в партизанское движение. Так можно расшифровывать почти каждого персонажа как в романе «Жёлтый дьявол», так и в «Разгроме», и в «Последнем из удэге». Есть чем заняться читателям и исследователям.

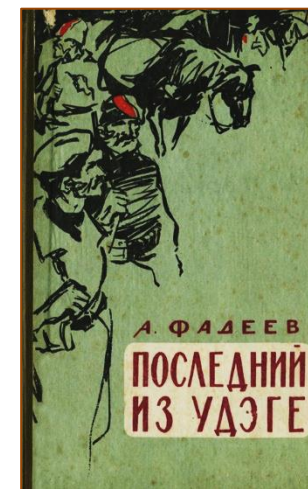
Ещё одна случайность привела меня к книге «Самураи просчитались», обнаруженной в выставочной витрине, посвящённой 120-летию со дня рождения писателя в библиотеке им. М. Горького. Это литературно-художественный сборник, изданный в 1939 в Москве. Сборник был посвящён советско-японским боям на озере Хасан, на сопке Заозёрной. У дороги на Ханси (Маячный) есть могила пяти воинам, погибшим во время



этих боёв с японцами. В раннем детстве, помню, мама приводила меня на эту могилу, мы убирали её от сухой травы и подкрашивали пять звёздочек на обелиске, где были высечены имена воинов. Тогда я не умел читать. Так вот, в сборнике «Самураи просчитались» в главах из романа «Последний из удэге» А. Фадеева и рассказе «Плен» Н. Костарёва соединились имена бывших боевых и товарищей по партизанскому движению в Приморье.

III Япония в романе «Последний из удэге»

В романе «Последний из удэге» есть страницы, связанные с Японией. Его героиня Лена Костенецкая после аборта предпринимает попытку самоубийства. Травится сонными порошками. Её отправляют на лечение в Японию, где она проводит год.



«Из Японии Лена вывезла увлечение японской живописью. Её пленили старые мастера, одни из которых как бы нарочно существовали для того, чтобы уводить людей от живой жизни, другие же – для того, чтобы подчеркнуть и выпятить жизненное уродство. Лена часами могла смотреть на сказочных, с пышными хвостами павлинов Ямагисава Рикиё среди цветущих, величиной с павлинов, пеоний, на его крохотных отшельников, повисших среди огромного и бесплотного, как небо, горного пейзажа, на выгравированных на дереве криворотых проституток школы Укйю-е, на извращённых демонов Хокусая и уличных уродцев Ватанабе Квадзана или обращалась к глубокой древности и внушала себе, что ей нравится «Лунная ночь во дворце» Такайоси, где в рассеянном лунном свете, среди косых линий тихо сидели, склонив головы и закрыв глаза, одутловатые люди во вздувшихся, словно наполненных воздухом, одеждах и слушали такого же одутловатого, во вздувшейся одежде человека, игравшего на флейте».

ИМЕНА И ДАТЫ

Здесь нужны комментарии. Имена художников даны у автора в искажённой транскрипции. Ямагисава Рикиё – это Янагисава Киэн (Рюкю) 柳沢淇園, 1704–1758, один из зачинателей литературной живописи «бундзинга». Укийо-е – направление в живописи укиё-э, 浮世絵, означает «картины бренного мира». Хокусай – это Кацусика Хокусай, 葛飾 北斎, 1760–1849. Ватанабе Квадзана – Ватанабэ Кадзан или «Гора цветов», 渡辺華山, 1793–1841, самурай, политик, художник, последние горы жизни провёл под домашним арестом за труды, в которых выступал за развитие отношений с западными державами, зарабатывал на жизнь продажей картин, покончил жизнь как самурай – совершил сеппуку. Такайоси – Фудзивара-но Такаёси, 藤原隆能, придворный живописец 12 века, писал в жанре «ямато-э» горизонтальные свитки к роману Мурасаки Сикибу «Гэндзи-моногатари» – «Повесть о блистательном принце Гэндзи».

На этом культурологические связи романа с Японией обрываются, они переходят в фазу военных действий. Судя по описанию картин, Фадеев, не вникая в суть средневековой японской культуры и живописи, пытается сказать читателю, что его героиня Лена Костенецкая оказалась под влиянием какого-то декадентского искусства. За год пребывания в Японии героиня могла бы освоить японский язык, но эта подробность не развивается и обыгрывается в романе. Только говорится об утончённости натуры героини. В «Последнем из удэге» действует отряд под командованием японского капитана Мимура, крещённого японца с русским именем Семён. Именно к нему Всеволод Ланговой, бывший возлюбленный Лены Костенецкой, вынужден обратиться за помощью, чтобы учинить расправу над бастующими шахтёрами Сучана.

Россию и Японию связывает не только история войн двадцатого столетия. Наши соседние по морю страны связаны также культурными парадоксами и литературными взаимовлияниями. У Велимира Хлебникова есть стихотворение, в котором поэт говорит о глубинных различиях в переживаниях смерти у христиан и у буддистов.

*Ни хрупкие тени Японии,
Ни вы, сладкозвучные Индии дщери,
Не могут звучать похороннее,
Чем речи последней вечери.
Пред смертью жизнь мелькает снова,
Но очень скоро и иначе.
И это правило – основа
Для пляски смерти и удачи.*

(1915)

IV Путь война

С точки зрения самурайской этики смерти – позволим себе неожиданный ракурс зрения – жизненный путь писателя Александра Фадеева можно рассматривать как путь война. Фадеев – не бесстрашный человек, но на воинском пути обретает мужество и цельность характера, если не сказать большее – монолитность. Преданность партии большевиков. Его путь был героическим. Таким же мужественным человеком был поэт и офицер Николай Гумилёв, стоявший на противоположной стороне истории, расстрелянный чрезвычайной комиссией в качестве заложника. Эти двое обладали воинским духом, но различались пониманием воинского долга. У одного классовый долг, у другого – монархический.

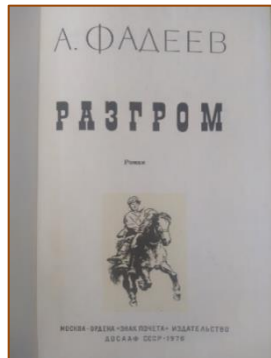
Кажется неслучайным, что Фадеев в романе «Последний из удэге» цитирует стихи Николая Гумилёва, который, кстати, тоже отдал дань японской экзотике несколькими стихотворениями. Не знаю, смелым ли был поступок Фадеева процитировать в тридцатые годы эти стихи идейного врага? Стихами Гумилёва увлекается персонаж Всеволод Ланговой. Мимоходом замечу, что имя его двоюродного брата Всеволода Сибирцева, погибшего от японских интервентов, было почему-то отдано литературному врагу.

Всеволод Ланговой тоже исполняет по-своему понимаемый воинский долг, омерзительный в глазах его бывшей возлюбленной Лены. Он сотрудничает с интервентами и участвует в совместных карательных операциях против сучанских шахтёров. Возможно, Фадеев представлял, что по стечению исторических обстоятельств

ИМЕНА И ДАТЫ

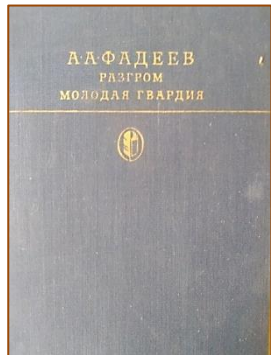
на месте Лангового мог оказаться любой другой человек, в том числе его двоюродный брат – Игорь Сибирцев, стоявший в юнкерской охране Зимнего дворца во время октябрьского переворота 1917.

Фадеев рассказывает в воспоминаниях, каким мучительным был его выбор в пользу революции и как мужественно он сражался за страну Советов. Этому посвящается рассказ «Рождение Амгуньского полка». К теме этого рассказа примыкает отрывок из воспоминаний «Особого коммунистического». Там упоминается одно литературное произведение, зачитанное партизанами до дыр,



– «Номо Sapiens» Станислава Пшибышевского, которое «по духу своему меньше всего соответствовало тому, чем мы жили тогда», – пишет Фадеев.

Полагаю, что без прочтения этого романа Станислава Пшибышевского (1868–1927) «о девиантности и сексуальности», о «распаде личности через алкоголизм и эротизм» для понимания «Разгрома» нам сейчас уже не пройти мимо, также как без романа «Разгром» Эмиля Золя, открывшего тему простого солдата и парижской коммуны.



Диалектика истории русской смуты прочно вошла в диалектику души героев Александра Фадеева. Роман «Разгром» – шедевр русской литературы: беспощадный роман об отмирании старого и зарождении нового в человеке. Он не только про революцию, но и про инстинктивное доминирование в общественной жизни: о

силе, насилии, власти в их нищенском смысле. Фадеев как бы показывает, что политическая жизнь также подвержена биологическому закону, как и социальным, и моральным законам. Советская критика вынуждена была роман «Разгром» «присвоить»

идеологически, в рамках социалистического реализма. Это произошло не сразу.

В статье Луначарского «Социалистический реализм» (доклад на 2-м пленуме Оргкомитета Союза писателей СССР, опубликованный затем в журнале «Советский театр», 1933, №2–3) имя Александра Фадеева ещё не фигурирует. С ранних лет у меня хранится учебное пособие Л. И. Тимофеева «Русская советская литература» (1954), подобранное на чердаке у деда, девятое издание, по которому должно быть ещё учились мои родители. В главе, посвящённой Александру Фадееву, автор учебного пособия разбирает «черты социалистического реализма в романе «Разгром». Это образец идеологического присвоения романа, который начинается с того, что партизаны разгромленного отряда срывают с себя красные банты и ленты.

Фадеев показывает людей в исключительных и критических обстоятельствах, когда инстинктивное доминирование руководит поведением людей внутри отряда, в первую очередь, но в то же время писатель показывает, какая мучительная ломка идёт в душах за осознанность, за осмысленность. Идея борьбы за социализм, власть Советов – пока ещё мерцательная идея в умах персонажей. Иначе бы не было в отряде дезертиров, иначе бы по малодушию не сбежал Мечик, который мечтал о героическом пути воина, хотя бы ради возлюбленной. Партизан объединяет общий враг – интервенты. Я хочу сказать, что в романе есть другая сторона жизни, намеренно упущенная советскими критиками, – и она не только идеологическая, но и инстинктивная. Фадеев беспощадно, правдиво описывает диалектику этой борьбы. В таком сложном романе не могло не обойтись без библейских мотивов, которые обнаруживаются в образе Иосифа Абрамыча Левинсона, ведущего отряд через погибель людей к земле обетованной (социализму), как её видят в грёзах измученные персонажи.

V Этика смерти

Смерть в самурайской этике возможна во имя долга или в наказание за неисполненный долг; смерть в христианской

ИМЕНА И ДАТЫ

парадигме – это смерть во имя Христа и вечной жизни. Смерть в советской военной этике оправдана только исполнением долга. Неисполнение долга карается смертью.

Александр Фадеев закончил свой путь воина самоубийством – выстрелом в сердце из нагана, с которым он прошёл путь солдата и воина от Приморья до Кронштадта. Так же выстрелом в сердце закончил свой воинский путь его двоюродный брат Игорь Сибирцев, не пожелавший живым сдаваться колчаковцам в сражении под Хабаровском. Этическая дилемма Фадеева была между долгом и добром, что наглядно описано в рассказе Владимира Тендрякова «Охота».



Насильственных смертей в русской литературе хватает с лихвой. Смерть Александра Грибоедова – героическая, насильственная, инспирированная, исполненная долга. Смерть Лермонтова, инсценированная самим же Лермонтовым, фатальная. Это смерти воинов. Много самоубийц среди японских писателей.

Не всякие смерти можно сравнивать. Например, смерть Ясунари Кавабата, нобелевского лауреата, писателя, носителя женского начала японской культуры, здесь не подходит для сравнения. Он отравился газом. Это экзистенциальная смерть. Наследником самурайской этики смерти в послевоенной Японии, последним воином-самураем, стал скандальный и одиозный писатель Юкио Мисима. Прекрасные годы своей жизни я посвятил переводам его произведений.

Размышлять о писателях-самоубийцах – это всё равно, что разбираться в их демонах.

Мотив самоубийства описан Фадеевым в «Разгроме», когда Павел Мечик вместо самоубийства решает уйти из отряда (глава XVII. Девятнадцать). «Он машинально вытащил револьвер, и долго с недоумением и ужасом глядел на него. Но он почувствовал, что

никогда не убьёт, не сможет убить себя, потому что больше всего на свете он любил всё-таки самого себя – свою белую и грязную немощную руку, свой стонущий голос, свои страдания, свои поступки – даже самые отвратительные из них. И он вороватым тихоньким паскудством, млея от одного ощущения ружейного масла, стараясь делать вид, будто ничего не знает, поспешно спрятал револьвер в карман». И т. д. по тексту. В конце концов, он избавляется от револьвера, выбрасывает его в кусты и уходит из отряда, оставляя после себя славу предателя.

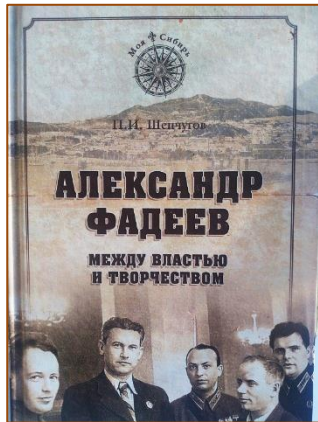


Личный мотив смерти Фадеева можно отыскать в характеристике Семёна Казанка из романа «Последний из удэге». Этот мотив также коренится в инстинктивном доминировании, которое писатель продолжает исследовать в эпосе. «И то, что все эти люди были тем самым противопоставлены ему, то, что он был одинок среди этих людей, и как бы стоял над ними, не только не пугало и не огорчало Сёмку, а наоборот – именно это и составляло главный интерес его жизни и двигало всеми его поступками. Вне такого отношения людей к нему жизнь теряла для него всякую цену и смысл. Он всегда ощущал в себе ту внутреннюю силу презрения к людям и к человеческой жизни, силу, которая могла толкнуть его на что угодно, даже на уничтожение себя, лишь бы не сравняться с другими людьми и не дать им восторжествовать над ним». (глава XXVII).

Назовём это одним из демонов власти, овладевших всего лишь Семёном Казанком. Какие-то враждебные силы восторжествовали над Фадеевым после XX съезда партии, против него жёстко выступил Шолохов, не подавали руки возвращавшиеся из «гулага» репрессированные писатели. Фадеев оказался в вакууме одиночества.

ИМЕНА И ДАТЫ

Последний самурай японской литературы Юкио Мисима и последний воин советской литературы Александр Фадеев – между ними нет никаких биографических, исторических и культурных точек соприкосновения и пересечения. Это два типажа в культуре двадцатого века. Это два писателя, у которых был жизненный проект. У Фадеева – интернационалистический и советский проект,

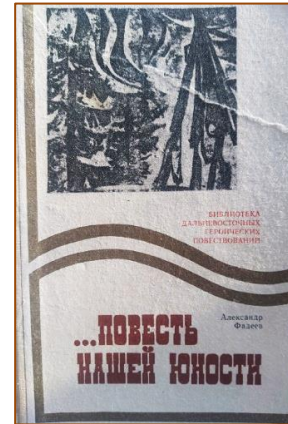


у Мисимы – имперский и националистический проект. Это были писатели-воины, одержимые идеей политического преобразования. Фадеев был блюстителем советской литературы. Мисима был хранителем японской классической литературы. Черты той и этой литературы – мужественность стиля. На этом посту, на этом пути оба не справились со своей ролью и задачей. Потерпели поражение. Оба проекта потерпели крах. Как воины, потерпевшие поражение, они совершают самоубийство.

Фадеев – из своего боевого оружия, Мисима – совершает ритуальное хакари посредством меча. Опасная для власти смерть Фадеева была обставлена государственными почестями и ритуалами. Обе смерти сопровождалась ритуальными действиями. Фадеев был предан политическому Абсолюту в лице Сталина. Мисима следовал Абсолюту императора и эстетическому Абсолюту смерти.

После самоубийства Фадеева стал подниматься антисоветский проект в лице Солженицына. 13 мая 1956 года Фадеев оставляет посмертное полное личного разочарования письмо, которое будет опубликовано только спустя три десятка лет; Мисима 11 декабря 1970 года оставляет посмертное метафорическое стихотворение: «*散るをいとふ世にも人にも先駆けて 散るこそ花と 吹く小夜嵐* / Взвевает лёгкий ветер ночной, и опадут цветов лепестки. И человек, и мир его тоже распадается следом».

В эссе «Солнце и сталь» Мисима пишет: «В послевоенные годы, когда рухнули все существовавшие прежде общественные ценности, я считал (и часто говорил другим), что настало время возродить классический японский идеал единства культуры и боевого духа, литературы и меча, Слова и Действия». Метафорически Мисима расшифровывает идеал единства слова и действия таким образом: «Действие – роняющий лепестки цветок», «испепеляющее стремление к смерти», которое «проявляется не в апатии и безволии», а «в бьющей через край силе, расцвете жизни и бойцовском духе»; «Слово – сотворение цветов нетленных»; «идеал единства Слова и Дела ставит целью соединить живое цветение с вечностью...» и т. д.



После распада советской страны Красное знамя Александра Фадеева поднял Эдуард Лимонов, который, как это ни парадоксально, вдохновлялся именем и делом Юкио Мисимы, соединив в своей политической деятельности социализм Фадеева и национализм Мисимы.

Таковыми парадоксами литературы мы можем описать две трагические писательские судьбы, не имевших ни одной точки пересечения. И всё же не побоюсь ещё одного гипотетического парадокса: путь воина-писателя, который прошёл Фадеев, вдохновил бы Мисиму, если бы он узнал о нём в те дни, когда замыслил свой военный проект, обречённый на поражение. Всё, что было у Фадеева на его пути воина, об этом только мечтательно пишет Мисима в своём эссе «Солнце и сталь». Меч, слово, действие – вот что хотел соединить Мисима в своём неутомимом воинственном творчестве. Приравнять перо к штыку – таков был изначальный императив советской литературы. Свои рассуждения (в толстовской стилистике) о долге, о воле, о действии, о власти

ИМЕНА И ДАТЫ

Фадеев вручает командиру отряда Левинсону, символически обретающему на пути война некий библейский характер.



«В первое время, когда он, не имея никакой военной подготовки, даже не умея стрелять, вынужден был командовать массами людей, он чувствовал, что он не командует на самом деле, а все события развиваются независимо от него, помимо его воли. Не потому, что он не исполнял свой долг, – нет, он старался дать самое большее из того, что мог, – и не потому, что он думал, будто отдельному человеку не дано влиять на события, в которых участвуют массы людей, – нет, он считал такой взгляд худшим проявлением людского лицемерия, прикрывающим собственную слабость, таких людей, то есть отсутствие в них воли к действию, – а потому, что в этот первый, недолгий период его военной деятельности почти все его душевные силы уходило на то, чтобы превозмочь и скрыть от людей страх за себя, который он невольно испытывал в бою. Однако он очень скоро привык к обстановке и достиг такого положения, когда боязнь за собственную жизнь перестала мешать ему распоряжаться жизнями других. И в этот второй период он получил возможность управлять событиями – тем полней и успешней, чем ясней и правильней он мог прощупать их действительный ход и соотношения сил и людей в них. Но теперь он вновь испытывал сильное волнение, и он чувствовал, что это как-то связано с новым его состоянием, со всеми его мыслями о себе, о смерти Метелицы» (глава XV. Три смерти).

Окажись, Юкио Мисима со своими самурайскими идеалами долга и страдания (условия для воспитания мужества) в революционной советской модели существования, как семнадцатилетний Саша Фадеев, он был бы самым счастливым воином, прошедшим мучительный путь от солдата революции

вплоть до узника колымского Гулага. Я думаю, что Фадеев стал бы героем Мисимы, которому тот захотел бы соответствовать как воину. Если бы Мисима знал о молодогвардейцев из романа Фадеева «Молодая гвардия», его также вдохновил бы и их подвиг. О молодых людях подобного мужества Мисима и мечтал, когда создавал военизированное «Общество щита» («Татэ-но кай»), насчитывавшее около сотни юношей. А так он был вынужден постоянно доказывать себе, что достоин мужественного пути самурая (занимаясь эстетическим любованием и работая над собственным телом).

Им обоим была к лицу военная форма. Фадеев одевался просто, носил военизированную рубашку. Мисима заказал себе и ста юношам военную форму у кутюрье. Оба ориентировались на классические образцы в литературе. Мисима также ориентировался на русскую и японскую классику. Оба избегали пышности стиля, искореняли романтизм. Фадеев был нацелен на жизнь бrenную в царстве всеобщей справедливости, Мисима – на смерть вечную и одинокую.

Альбер Камю в эссе «Миф о Сизифе» (1942) пишет: «Есть лишь одна действительно серьёзная философская проблема: это самоубийство. Вынести суждение о том, стоит ли жизнь труда быть прожитой или не стоит, – это ответить на основной вопрос философии». На этот основной вопрос философии Мисима отвечает в эссе «Солнце и сталь». Это эссе можно назвать эстетическим манифестом самоубийцы или предсмертной запиской приговорённого к казни, или размышлениями писателя и воина в приёмной у доктора Абсолюта.

Посмертное отношение в обществе к Фадееву и к Мисиме до сих пор остаётся неоднозначным. Если интерес к имени Юкио Мисима возрастает у российского читателя, то к творчеству и судьбе Фадеева, как ни прискорбно, угасает. Виновато сумеречное сознание постсоветских людей. Из школьной программы убраны его произведения. Но возвращение Фадеева ещё состоится.

ИМЕНА И ДАТЫ



Японский консул на презентации книги А. Белых «Эхо сердца»

Лермонтов оставил нам роман «Герой нашего времени», Фадеев – роман «Разгром».

Гладких, бесхарактерных, отёсанных, без сучка и задоринки писателей не существует в литературе. Власть пыталась его обстругать. Партия была для него старшим товарищем, которому он доверял с юношеских лет беспрекословно. И он никогда не предавал идеалы советской Родины.

Уходя в свой последний путь, чтобы совершить попытку марионеточного государственного

переворота, зная, что идея обречена на поражение, Мисима оставил на столе записку, в которой звучит надежда на посмертную славу: **«Жизнь человека ограничена, но я хотел бы жить вечно».**

Смерть Фадеева была аскетична и без пафоса. Воинский императив Фадеева/Левинсона был прост и не претенциозен: **«Нужно жить и исполнять свои обязанности».**



Светлана Руснак и Тамара Кузьмина (читает стихотворение) на презентации книги А. Белых «Эхо сердца»